



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ



Рецензии, аннотации, отзывы



**МЕТАТРЕЗВОСТЬ.
СТРУКТУРА НАРОДНОГО БЕЗМОЛВИЯ**

С.А. Никольский, В.П. Филимонов.

Русское мировоззрение.

**Смыслы и ценности российской жизни
в отечественной литературе и философии
XVIII – середины XIX столетия.**

– М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 416 с.

А.П. ЛЮСЫЙ

Первое из чаадаевских «Философических писем», по мнению авторов этой книги, исполнено «горькой оценкой национально-го самосознания страны и *более чем трезвым* взглядом на мирозерцание народа». Выраженная таким образом *метатрезвость* основоположника русского национального самосознания не может не подразумевать, хотят ли они того или нет, и дозу семантического *самоопьянения* (а чем еще можно мировоззренчески объединить, скажем, наших вечных Обломова и Штольца?). Проекции данной «горечи» неизбежно упираются именно в такой каталог отечественных «доз», своего рода русскую походную «Вавилонскую библиотеку», переходящую в «винотеку», как поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки».

Однако книга в целом настраивает вернуться скорее к истокам мировоззренческого *самопутешествия* на амортизирующих критическое отношение к действительности обломовских перинах и подушках – повести «Тарантас» Владимира Соллогуба (во всяком случае, я испытал именно такой импульс перечитывания, а, скажем, «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева, с приведенной оценкой Горького как образчик применения идей французской революции к русскому быту, и мне показалось слишком идеологическим). В беседах героев «Тарантаса» не раз повторяется основной диагноз русского дворянства – жизнь «сверх состояния» (теперь можно добавить – и сверх самочувствия). Сам собой, как читательский сон сквозь красочные сны самих героев, возникает образ некоего *западно-восточного дивана бесконечного тупика*. В итоге, в значительной степени поверх са-

мой книги, мне стало ясно, что *сосредоточиться* России, вопреки знаменитому столыпинскому образцу выдачи желаемого за действительное, так никогда и не удастся (к сожалению или к счастью?). Конечно, временами она, действительно, сосредотачивается, в дремоте ли, или деятельном возбуждении, но процесс сосредоточения ведет не к *сосредоточенности* как таковой, а к диалектически неизбежному распылению. Ибо что такое сосредоточенная Россия, как не та самая «разнообразная куча», о которой Гоголь писал В.А. Жуковскому, излагая в конце 1837 г. замысел «Мертвых душ».

Центральная проблема «Русского мировоззрения» – народное безмолвие, выраженное русской литературой, начиная со знаменитой, задающей тон целым исследовательским направлениям, ремарки в трагедии Пушкина «Борис Годунов» и не то чтобы кончая, но достигая предела выразительности в рассказе «Му-му» Тургенева. Можно, конечно, упомянуть по этому поводу и тоже своего рода *сверхбезмолвный* нецензурный словесный беспредел новейшей постмодернистской русской литературы, при всех сомнениях-возмущениях по поводу того, в какой степени она (1) «русская» и (2) «литература», но эти разборки оставлены авторами в стороне четко очерченными хронологическими рамками. Неофрейдизм и иные новинки западного интеллектуального инструментария для авторов «Русского мировоззрения» излишни. Народное безмолвие адекватно постигаемо особым качеством безмолвия же, «сочувственным постижении народного духа», как писал Семен Франк, с упором на интуитивно-чувственное познание, погружением русской литературы в «свой», российский философский контекст и извлечением философских смыслов, с упором на «протоформы» – «мироощущения», «неотрефлектированные, а подчас и вовсе неосознанные первичные мировоззренческие образования» из самой литературы.

«Народ безмолвствовал» – что это, как не формула основного национального российского архетипа? Безмолвствовал, т.е. существовал вне истории, в каком-то смысле – вне Текста (что он и продолжает делать и в своем нынешнем предельно атомизированном электоральном большинстве). Впрочем, позволим все же сослаться на постструктуралистскую почитательницу Михаила Бахтина Юлию Кристеву, типология литературных универсумов расчленяет линейную историю на текстуальные блоки. Авторы «Русского мировоззрения» приводят беспрецедентный, на их взгляд, по точности и смелости чаадаевский тезис о «внеисторическом» положении русских («стоим как бы вне времени»), т.е., как это вытекает из всей чаадаевской философичности, «стоим» не во времени, а в пространстве, точнее – в пространстве текста.

Местопребывание власти — текст предписания, российскую специфику которого откровенно выразила Екатерина II в обращении к Дидро: «Вы трудитесь над бумагою, которая все терпит — она гладка, покорна и не представляет препятствий ни вашему воображению, ни перу вашему; между тем как я, императрица, работаю на человеческой шкуре, которая, напротив, очень раздражительна и щекотлива» (С. 48). Местопребывание народных масс — текст упомянутого безмолвия. Попытки нарушить это безмолвие растворялись втуне. Многие вопросы Чаадаева и поныне остаются без ответа: «Почему... русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским?... Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой». То есть почему в Европе освобождение человека от рабства было начато деятелями церкви и почему в России рабство уже спустя шесть столетий после принятия христианства, напротив, было учреждено?

«Россия, впуганная в раздумье», — словами поэта и публициста Николая Огарева характеризуют авторы не только первые десятилетия царствования Николая I, но и литературу той поры, в которой они с особым вниманием рассматривают творчество писателей, вышедших из низовых слоев нации (Кольцов, Никитин), а в литературе в целом выделяют исследовательское по отношению к деревенской жизни начало (Григорович). Пушкинская формула «народ безмолвствовал» как бы обрушивается на все российское пространство. В то же время как бы подразумевается наличие двух типов безмолвий — рабства и свободы. «...Пушкин и Кольцов, — ссылаются авторы на исследования Николая Скатова, — пишут о разных мужиках. Пушкин — о крепостном, Кольцов — о свободном... Кольцов своеобразно выступил против крепостного права: он его игнорировал... Кольцов сумел увековечить в своих драмах-песнях органические типы нашей народной жизни потому, что сумел, так сказать, “освободить” народ от крепостного права. Именно в качестве певца свободного человека Кольцов был скорее поэтом прошлого... или будущего... но не буквального настоящего... Кольцов не идеализировал народный мир в смысле приукрашивания, то есть искажения реального положения, а вскрывал его идеальную суть...» (С. 242 — 243).

Кольцовская «Песня пахаря» стала восторженным приятием мироздания как пространства естественного сотрудничества с природой, это художественно превращенный голос самого крестьянства, в вольном труде осваивающего природу. Алексей Кольцов предстает как уникальное явление, его трудно сопоставить с кем-либо из ближайшего окружения (разве что с позднейшими

фигурами Велимира Хлебникова и Андрея Платонова). Скажем, герой «Пахаря» на поколение младше крестьянского поэта Ивана Никитина представлен совершенно иначе. Он увиден со стороны, взглядом образованного и «чувствительного» человека, подобно крестьянину в радищевском «Путешествии». У Никитина природа не сотрудничает с пахарем, а противостоит ему, подобно социуму. «Никитин абсолютизирует тяготы наличного существования своего персонажа, исчерпывает им не только быт, но и его мирознание — в силу тесной спаянности крестьянина с социальным бытием. У крестьянки Никитина “овин сгорел”, “муж заболел”, а потом и скончался, “дети просят хлебушка, покою не дают”, “и лошадки голодные стоят и корму ждут”. В конце-концов крестьянка вынуждена выйти замуж за богатого, но “взбалмошного и причудливого старика”. Словом, всякий раз на небольшом пространстве социально-бытовые сценки Никитин концентрирует все “классовое” зло, обрушивающееся на бедных, “униженных и оскорбленных” персонажей» (С. 249).

Безропотный крестьянский труд на фоне «задумчивого усыпления» проселка настраивает и на своеобразный (а)теоретический «текст безмолвия». Согласно небесспорному, на взгляд авторов, мнению Николая Чернышевского, «никто из русских беллетристов не изображал простонародного быта красками более темными, нежели г. Писемский». При этом критически относящийся к действительности теоретик отмечает, что Алексей Писемский «тем легче сохраняет спокойствие тона, что, переселившись в эту жизнь, не принес с собой рациональной теории о том, каким бы образом должна быть установлена жизнь людей в этой сфере. Его воззрение на этот быт не подготовлено наукой — ему известна только практика, и он так сроднился с нею, что его чувство волнуется только отклонениями от того порядка, который считается обыкновенным в сфере жизни, а не самым порядком... Он не хлопочет о том, чтобы существующая система сельского хозяйства заменилась другою... Он не судит существующего» (С. 271). В дальнейшем, как известно, созданную в семантически и идеологически более насыщенных местах революционную теорию пришлось директивно внедрять в массы.

«Истинная» же («народная») философия, приводят авторы слова другого художественного исследователя деревни Дмитрия Григоровича, «состоит в убеждении, что лишнее умничанье ни к чему не ведет. Счастье заключается в простой жизни; просто живут те только, которые следуют своим побуждениям и доверчиво, откровенно поддаются движениям своего сердца. Дайте любому философу живописный участок земли, дом — какой-нибудь уютный, теплый уголок, скрытый, как гнездо в зеленой чаше сада;

пускай вместе с этим домом соединятся воспоминания счастливо проведенного детства, — и тогда, поверьте, подъезжая к нему после долгой разлуки, он искренне сознается, что вся философия его — вздор и гроша ломанного не стоит!» (С. 261). Пространство молчаливо и *нечитабельно*, какие бы усилия по составлению путевых заметок ни предпринимал один из героев упомянутого «Тарантаса». «Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом повседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу. Окрустность мертвая; земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть; дорога скверная... по дороге идут обозы... мужики ругаются — вот и все... а там: то смотритель пьян, то тараканы по стене ползают, то щи сальными свечами пахнут... Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобною дрянью?.. И всего безотраднее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает... Нет ничего нового, ничего неожиданного. Все то же да то же... и завтра будет как нынче. Здесь станция, там опять та же станция, а там еще та же станция; здесь староста, который просит на водку, а там опять до бесконечности все старосты, которые просят на водку... Что же я стану писать? Теперь я понимаю Василия Ивановича: он в самом деле был прав, когда уверял, что мы не путешествуем и что в России путешествовать невозможно. Мы просто едем в Мордасы. Пропали мои впечатления!».

В итоге главный герой повести, оторвавшийся от народа и в то же время не сумевший вписаться в современную интеллектуальную жизнь Европы Иван Васильевич так и не смог начать свои российские путевые заметки. Будущая, нашедшая саму себя и адекватный себе язык Россия привиделась ему лишь во сне после череды демонических испытаний.

Впрочем, следует отметить (авторы «Русского мировоззрения» не коснулись этого момента), что наиболее приблизился герой «Тарантаса» к проявлению собственного голоса (накануне провала в сон) после пересечения границы «коренной» Руси. И не на западе, а на востоке: «Наконец я в Казани... Кто бы подумал, а вот-таки и доехали. Доехали до Востока... хоть не совсем до Востока, а все-таки по соседству... Ну, и деревни уже другие пошли по дорогам, с мечетями, с избами без окон, с женщинами, которые прячутся от нашего тарантаса, закрывшись грязными полотенцами... На пути уже редко попадается православная бородака... Теперь стало поживописнее. Идет маленький бритый татарин какой-нибудь в чибитейке, или глупый чуваш, или разряженная мордовка. Все уж получше. Берись за перо, Иван Васильевич, бе-

пись скорее! Дождись вдохновения, а покамест пиши... Пиши свои заметки... Начиная свои впечатления».

С одной стороны, здесь присутствует критика «колониальной обломовщины», тон которой был задан, как ранее отмечено в книге, Михаилом Лермонтовым (романистом и очеркистом): «Выступая в роли колонизаторов и совершенно не прикрываясь никакими рассуждениями о государственной необходимости, террористической опасности и прочими стандартными в этом случае оговорками, русские офицеры на Кавказе — в основном выходцы из помещичьих семей — в массе своей просто лениво и незастенчиво проживают жизнь. Создается впечатление, что они даже не заботятся о том, чтобы использовать свое положение для личного обогащения, как это обычно делают колонизаторы из других стран. Очевидно, что типичная для них форма поведения (о чем в свое время напишет и Л.Н. Толстой) — это лениво-посредственное, без усердия и заботы о достижении цели исполнение воли царя. То есть ведут они себя как люди, несущие повинность и делающие вынужденную работу, как титулованные или нетитулованные холопы, посланные исполнять свой крепостной “урок” по завоеванию чужих территорий». С другой стороны — налицо проекция к статье-манифесте Велимира Хлебникова «О расширении географических пределов русской поэзии», в которой говорится о долге русской литературы перед коренными народами обширных пространств России и о том, что русской литературе нужны не новый Пушкин и Достоевский, а новый Пржевальский.

Петербург (и Петербургский текст) — особый способ прочтения России, выработки правильной «грамматики» такого дисциплинарного и дисциплинирующего чтения, сопровождающегося издержками человеческих отходов, на которых сосредотачивают внимание собранные под обложкой «Русского мировоззрения» писатели (рассказ Писемского с неогренимым в своей знаменательности названием «Питершик», согласно которому сама природа русского Нечерноземья заставляет крестьян отрешиться от пусть и убогого, но все же как-то устроенного земледельческого быта и превращаться в перекасти-поле). В этом отношении и «Тарантас» Соллогуба — образец «антипитерского» текста: «Люди совестливые! Не ищите родных вдохновений в петербургских залах, где танцуют и говорят по-французски. Поверьте, вы найдете их скорее в бедной хате, заваленной снегом, на теплой лежанке, где слепой старик поведаст вам нараспев чудные предания, полные огня и душевной молодости».

Отрицательный результат работы пространства Петербургского текста нагляднее всего показан в рассказе Ивана Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник»: «Щепетильную застенчивость,

осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшливость нестерпимое... Я, дескать, художник, вольный казак! Знай наших! Бывало, по целым дням кисти в руки не берет; найдет на него так называемое вдохновение — ломается словно с похмелья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловеют; пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед... На деле же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзия — вот его стихии. Знай, потряхивай кудрями да заливайся соловьем... Хороша русская удаль, да немногим она к лицу; а бездарные Полежаевы второй руки невыносимы» (С. 328).

«Записки охотника» Ивана Тургенева в целом, по мнению авторов, являют высшую степень проникновения в народную психологию и, в частности, в то, что мы бы охарактеризовали как *структуру народного безмолвия*. «...Только с “Записок охотника”, на наш взгляд, тема сознания русского человека в его индивидуальном и общественном проявлении, тема русского мировоззрения становится главным предметом русской литературной и философской мысли, так глубоко и всесторонне рассмотренным во второй половине XIX — XX в.» (С. 354).

Авторы усматривают прямую связь между былинным пахарем Микулой Селяновичем и оторванным от почвы Герасимом, нмота которого — не столько полное отсутствие речи, сколько ее инобытие. Безъязыкими являются барыня и люди из ее окружения — существа противоестественного, мертвееющего, немного, «немецкого» (откуда и происхождение слова «немец» в русском языке) мира. Совершив обряд жертвоприношения и исхода, Герасим обретает свободу — от людей вообще, полное онемение и погружение в природу как в породившую его утробу.

В рассказе «Ермолай и мельничиха» выявляется еще одна важная для понимания основной проблемы книги грань — «природность», первобытная простота, нечеловечность, «асоциальность» взаимоотношений в дореформенный период русских помещиков и их «людей». Обозначены два вида «природности» — одна из возможных форм естественной природности, которой может жить человек по своему выбору, и ее антитеза, установленные людьми бесчеловечные отношения рабства, исключаящие ими признание друг в друге именно человека.

Барин-охотник открывает всем своим существом впаянных в природу Калиныча и Касьяна, которые не пытаются в ней обособиться, так сказать, социализироваться. В итоге и сам он как бы сливается с природой, «онатурируется» рядом со своими геро-

ями, что напоминает погружение Ильи Ильича Обломова в свою мифическую деревню, нутряное сосредоточие собственно нашего природно вроде бы неповоротливого, но в то же время жизненно наполненного бытия. «Касьян – предельное состояние крестьянского пантеизма. Но в нем-таки больше светлой возвышенности, чем в испуганной приземленности его односельчан. Ведь и они неприкаянные, бездомные “оторванцы” внутри природного тела, но состояние свое “идеологически” не освоившие, в отличие от Касьяна или Калиныча. Касьян (а вместе с ним и благодаря ему повествователь) не боится природных пространств, как боятся его односельчане и другие персонажи “Записок охотника”. Он их в каком-то смысле духовное продолжение».

В свое время, на стыке XVIII – XIX в Россию пришла мода на «ночную» (а потом и «кладбищенскую») поэзию. В первом случае важное значение для культурного самоопределения имеет такой момент характеристики тургеневского Касьяна: «Можно сказать, что для него нет ночи в природе, в то время как в “Бежине луге” именно ночь пугает персонажей равнодушием и чувством непоправимого, могильного одиночества. Вообще, в нашей литературе, и у Тургенева в том числе, ночным своим состоянием природа пугает человека как раз тогда, когда он от природы отчасти отщепляется, пытаюсь социальной определенностью преодолеть свою природную зависимость, стихийность, дремучесть». Во втором – достаточно обратиться к рассказу Тургенева «Смерть», в котором русский мужик умирает «удивительно»: «Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто» (С. 306).

Художественно выраженные идеи «Записок охотника» авторы книги подтверждают цитатой из письма Тургенева к Полине Виардо, являющейся своего рода философским эссе (1849): «...целая крестьянская семья выехала в телеге, чтобы заняться уборкой своего поля, расположенного в нескольких верстах от села; и вдруг ужаснейший град дочиста уничтожил все колосья! Прекрасное поле превратилось в грязное болото. Мне случалось проезжать мимо; все они безмолвно сидели вокруг своей телеги; женщины плакали; отец с обнаженной головой и раскрытой грудью ничего не говорил. Я подошел к ним, хотел было их утешить, но при первом моем слове мужик медленно повалился ничком и обеими руками натянул свою рубаху из грубого небеленого холста на голову. Это было последним движением умирающего Сократа: последний и безмолвный протест человека против жестокости себе подобных или грубого равнодушия природы. Да, она такова: она равнодушна; душа есть только в нас и, может быть, немного вокруг нас... это слабое сияние, которое древняя ночь вечно стремится

поглотить. Но это не мешает негодяйке-природе быть восхитительно прекрасной, и соловей может доставить нам чарующие восторги, в то время как какое-нибудь несчастное полураздавленное насекомое мучительно умирает у него в зобу...» (С. 316).

Как апофеоз особого, непростого по составу своему качества безмолвия представлен рассказ «Певцы». Именно песня безмолвия проявляет не пробившиеся в обычной жизни таланты двух разных персонажей рассказа. Яшка-турок, черпальщик на бумажной фабрике у купца, вел жизнь тяжелую и безрадостную, хотя и «смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем». Его соперник, рядчик из Жиздры, «плотный мужчина лет тридцати... беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой» — и вовсе показался было повествователю изворотливым и бойким городским мещанином. Однако, когда они начинают петь, то оба на глазах преобразаются. В голосе Яшки «была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала нас за сердце, хватала прямо за его русские струны».

Когда же охотник-рассказчик выходит из кабака, он попадает как будто бы в эпицентр природного безмолвия. «Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы». То есть, комментируют авторы, природа либо затихла от только что услышанного, либо это только что пела устами певцов она сама, а, спев, как будто бы устала, выдохлась, затихла. Авторы ставят читателя перед выбором: то ли это русский человек умеет так вслушаться и передать в песне глубинное природное начало; то ли это такова природа, которая проникает внутрь русского человека и творит в нем то, что захочет.

Один из возможных читательских выводов по прочтении книги: крестьянство — альфа и омега русской литературы и русской истории. В определенной степени они оплатили за саму русскую литературу тот долг, о котором писал Хлебников, правда, по части только коренной России, но с сохранением отрезвляющей критической дистанции, в отличие от апологетов вульгарно понимаемой «народности».